



Лорд Актон

**Очерки становления
свободы**

ДЖОН АКТОН

Очерки становления свободы

«Интермедиатор»

УДК 321.01
ББК 66.0+60.0

Актон Д.

Очерки становления свободы / Д. Актон — «Интермедиадор»,

ISBN 978-5-91603-683-1

В этой книге собраны некоторые из лучших работ одного из самых замечательных и своеобразных историков XIX столетия — лорда Актона (1834—1902). Лейтмотивом Актона как мыслителя был вопрос о взаимоотношении политики и нравственности, а главной темой — история свободы. Актон воспринимает свободу через призму нравственности. Свобода достигается только в борьбе, отвоевывается (поскольку властолюбие неискоренимо), а удерживается — в результате равновесия сил. На внешнеполитической арене залогом свобод стало крушение империй, ограничение их власти. Во внутренней политике свобода равнозначна надежно установленным и защищенным правам всевозможных меньшинств. Рассказывая нам о древних, Актон напоминает, что абсолютная демократия — явление на деле еще более страшное, чем абсолютная монархия. От подавляющего большинства укрыться некуда. Воля этого большинства, если она не сдержана представлением о высшей правде (конституцией, совестью, Богом), может быть и преступна, и самоубийственна. В этом смысле прямым отрицанием свободы была афинская демократия времен первого морского союза. Именно она на многие столетия отвратила человечество от республиканского строя. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 321.01
ББК 66.0+60.0

ISBN 978-5-91603-683-1

© Актон Д.
© Интермедиатор

Содержание

Предисловие	7
Избранная библиография	18
История античной свободы[26]	19
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Лорд Актон

Очерки становления свободы

Lord Acton

The History of Freedom and Other Essays

© ООО «ИД «Социум», 2016

© Ю. Колкер, перевод, 2016

* * *

Предисловие

В этой книге собраны некоторые из лучших работ одного из самых замечательных и своеобразных мыслителей девятнадцатого столетия. Перед вами предстанет знаменитый историк, не написавший ни одной книги; политический философ-либерал, большую часть своей жизни бывший членом британского парламента, но едва ли когда-либо присутствовавший на его заседаниях и не имевший никакого веса в его дебатах; прославленный католик, взбунтовавшийся против папы; автор, настойчиво твердивший в своих сочинениях о необходимости беспристрастия и непредвзятости в истории – и вместе с тем не только видевший историю глазами необычного для той поры католического либерального демократа, но и прямо подчас отходивший, как об этом можно теперь с уверенностью сказать, от им же самим проповедовавшихся принципов беспристрастия; наконец, знаменитый моралист, не особенно интересовавшийся учением писавших о нравственности философов. Мы вправе были бы ожидать, что этот автор оставил нам лишь разнородный набор случайных журнальных обзоров и статей, не имеющих сколько-нибудь долговременной значимости.

Читатель увидит, почему, несмотря на все перечисленные здесь невыгодные для него свойства, этот мыслитель продолжает восхищать явившиеся после него поколения. Дав себе труд разобраться в разнородной смеси его сочинений, пробившись через туманные и вместе с тем волшебные словесные напластования, читатель разглядит основные положения истории, нравственности и политического права, проникнутые человечностью, изысканной утонченностью, острой наблюдательностью, теплотой и тревогой, по временам волнующие и воодушевляющие. Примером может служить помещенная в этой книге знаменитая лекция Актона *Об изучении истории*, которой он ознаменовал свое вступление в должность профессора в Кембридже. Многие критики находили ее многословной, загадочной и ничего не дающей для понимания предмета. Но все же она и по сей день завораживает всякого, кто изучает истоки и рост европейского исторического идеализма. Притом происходит это не благодаря включенным в нее подробным примерам, хотя справедливо и то, что она построена на основе редкого владения колоссальным историческим материалом, а благодаря глубоким ассоциациям, благодаря скрытому присутствию той властительной философии, которая делает изучение истории самой сущностью гуманитарного осмысления мира.

Джон Эмерик Эдвард Дальберг-Актон родился 10 января 1834 года в Неаполе, в семье английского помещика католического вероисповедания, сэра Ричарда Актона. Семья имела тесные связи с Италией, родной брат сэра Ричарда был кардиналом Римской курии. Еще более важным для развития молодого человека обстоятельством стало то, что его мать, Мари-Луиз Пеллини де Дальберг, происходила из немецкой семьи, взявшей в начале века сторону Наполеона в его попытках преобразовать Германию, так что представители этой фамилии воспринимались в Германии как носители французских либеральных идей законности и равенства. До шестнадцати лет будущий историк учился в английском колледже в Риме, а с 1850 по 1854 год – в Мюнхенском университете, которому и обязан лучшей частью своего образования. В Мюнхене Актон слушает лекции профессора И. фон Дёллингера, учеником и последователем которого становится, и приходит к убеждению, что развитое чувство истории необходимо каждому цивилизованному человеку. С той поры Актон любил повторять поговорку: «Те люди не станут думать о грядущих поколениях, которые не вспоминают о предшественниках»¹.

К двадцати годам он сформировался в весьма необычного молодого человека: был скорее европейцем, чем англичанином, а от католиков, в те годы выступавших против религиозной терпимости и державшихся правых политических взглядов, отличался либерализмом

¹ Fears 1, 464. – Полная ссылка на эту книгу приведена в избранной библиографии, приложенной к предисловию.

и страстной приверженностью идее терпимости. Тем не менее он оставался англичанином и дорожил этим. В Англии он нашел либеральное общество, вызвавшее у него восхищение и патриотический подъем. Европейское воспитание не мешало ему видеть в англичанах людей трудолюбивых, ответственных, сдержанных, обладающих крепким и здоровым характером².

Начиная с 1858 года Актон сотрудничает в католических изданиях и редактирует некоторые из них, – причем его усилия направлены в основном на то, чтобы убедить современных ему католиков в правоте либеральных идей. Однако это было время, когда Рисорджименто все более теснило папу Пия IX, вследствие чего папа был непримиримым противником либерализма. Понятно, что занятая Актоном позиция навлекла на него гнев церковной администрации. Между тем среди написанных им в эти годы случайных статей для периодических изданий имеются настоящие жемчужины, принадлежащие к числу лучших работ Актона.

Кульминацией этого крестового похода либерализма внутри церкви стал 1870 год, когда Актон оказался в числе тех, кто возглавил борьбу против официального провозглашения непогрешимости пап в вопросах веры и нравственности. Борьба закончилась поражением либералов, и с этого времени Актон уже не возобновлял попыток как-либо повлиять на состояние дел в католической церкви своей эпохи.

Он вновь обратился к изучению истории. С середины 1870-х годов, благодаря тому доверию, которое испытывал к нему вождь британской либеральной партии Уильям Гладстон (именно Гладстон в 1869 году побудил королеву Викторию возвести Актона в достоинство лорда), Актон становится влиятельной закулисной фигурой в политической жизни страны; не обладая никаким публичным влиянием в парламенте, он в частном порядке исподволь направлял либерального премьер-министра в сторону своих нравственных и демократических представлений.

Две помещенные в этой книге лекции по истории свободы были прочитаны в Бриджпорте в 1877 году. Им надлежало, по замыслу Актона, стать первыми главами грандиозной всеобщей истории свободы. Впрочем, он едва ли мог бы завершить подобную работу, и не только по причине неохватности предмета, но и потому, что был слишком погружен в чтение и попросту не располагал достаточным временем для писания. Английский язык Актона, – быть может, отчасти потому, что историк был англичанином лишь наполовину, – тяжел для чтения и понимания. Читатель переводов не раз улыбнется над закругленностью фразы Актона, над напыщенностью некоторых фрагментов его витиеватой прозы. Он встретит по временам предложения столь непрозрачные, что впору задаться вопросом о том, что они означают. Однако эта стилистическая особенность искупается торжественной приподнятостью речи, в точности соответствующей своему назначению и прекрасно передающей убеждение Актона в том, что лишь история, проникнутая нравственным чувством, достойна рода человеческого и способна служить его процветанию. В 1895 году Актон становится профессором по королевскому назначению (Regius Professor) Кембриджского университета по курсу новой истории и остается им до своей смерти в 1902 году. Еще в самом начале своей карьеры Актон выработал для себя и усвоил три основных положения, определившие строй всех его последующих работ. Первое из них состоит в том, что в политике необходимо постоянно отстаивать принципы справедливости и добродетельности. Политика означает компромисс. В ней нам приходится выбирать наименее худшую из возможностей, понимая ее как наилучшую и практически осуществимую. Добродетель отрицает компромисс, поэтому мы должны принимать решения, исходя из их справедливости и оставляя практичность на ее собственное попечение. Эта проблема напряженности между практическим здравомыслием в политике и всяким подлинным политическим идеалом постоянно занимала его мысль. Ему не давал покоя вопрос, справедливо ли высказывание

² Fears 1, 53; см. с. 130 наст. изд.

древнегреческого философа Хрисиппа о том, что в политике невозможно одновременно угождать и богам, и людям³.

Его обостренное нравственное чувство всегда ставило его на сторону идеала. В его исторических занятиях это свойство не оборачивалось слепым предпочтением, но делало историка в высшей степени нетерпимым по отношению к современным государственным и церковным деятелям, в которых он видел и осуждал сторонников компромисса; так, Актон не хотел слышать ни слова похвалы в адрес основного соперника Гладстона, консервативного премьер-министра Дизраэли. В истории Актон видел нравственное начало и совесть рода человеческого, утверждал, что если всем этим эксплуататорам и убийцам порою и удастся до конца своих дней преуспевать и процветать, то конечная их судьба далека от преуспевания, ибо история неизменно возвращает человечеству всю их подноготную.

Предметом особого внимания Актона была *истина*. Это слово теряет всякий смысл, если люди перестают говорить правду, – между тем сторонники необходимости в политике могут утаивать ее, прикрывая дезориентирующим языком пропаганды и даже говорить откровенную ложь, оправдывая себя тем, что она служит интересам государства. Призыв к открытому государству был для Актона основополагающим моментом в поисках нравственной системы управления.

Второй из аксиом Актона было то, что нам следует постоянно бороться за свободу государственную и церковную. Переживающие кризис государства сосредоточивают в своих руках все больше власти, причем эта жажда власти возрастает до тех пор, пока власть центра не становится абсолютистским режимом полицейского государства. Самое известное высказывание Актона сводится к одной короткой фразе: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно»⁴. Это свое убеждение Актон формулирует и в первом из помещенных в настоящем издании очерков: «Обладание неограниченной властью разъедает совесть, ожесточает сердца и лишает способности отчетливо мыслить...»

В возрасте 22 лет Актон отправился в Россию для того, чтобы присутствовать на коронации Александра II. На русских он произвел впечатление широтой своих знаний и взглядов, сам же проникся ненавистью к увиденной там деспотической системе власти, хотя и не уставал восхищаться тем, как русские, во всяком случае на первый взгляд, приспособились жить под гнетом деспотизма. Ему понравилась сестра царя, великая княжна Мария. Он с одобрением отозвался о «явном благоволении», с которым русская императорская фамилия относилась к православной церкви⁵. Он не считал невозможным установление в России конституции, гарантирующей свободы; такая перспектива представлялась ему осуществимой, ибо о русских он отзывался как о людях нравственных, то есть обладающих той нравственной основой, без которой немислимы демократические установления. Вместе с тем он нашел строй мыслей русских той поры незрелым и заключил, что им не хватает тех рассудочных качеств, которые позволили бы им организовать и поддерживать свободное общество⁶. С изумлением отзывается Актон об одной странной особенности столь автократического общества: в нем господствовала вера в то, что русское правительство в меньшей мере вмешивается в церковные дела, чем правительства многих западных протестантских стран. Но понимания православной церкви Актон не обнаружил; он составил себе весьма низкое мнение о русском богослужении, которое показалось ему «ограниченным», о его ритуальных торжествах и об уровне русского духовенства⁷. Он также заметил или пришел к заключению на основе рассказов других

³ Fears 1, 64.

⁴ Letter to Bishop Mandell Creighton, 3 April 1887; in: L. Creighton, *Life and Letters of Mandell Creighton*, 1904, i, 372.

⁵ *Essays*, The Catholic Press.

⁶ Cf. Fears 3, 600 from Add Mss. 5528, 43.

⁷ From: Döllinger on the Temporal Power, in Fears 3, 95.

наблюдателей, что, несмотря на нравственность русского общества, администрация империи коррумпирована. При этом, вместо того, чтобы счесть эту подмеченную коррупцию мелким и несущественным недостатком, он увидел в ней то преломление явного абсолютизма государства, с помощью которого общество на деле умудряется оказывать ответное воздействие на чиновный мир⁸.

Со временем Актон заметил также, сколь мало русское правительство, претендующее на всю полноту абсолютной власти и авторитета, на деле заботится о народе; он увидел, что следствием этого стало оживление местных общин, предпринимавших первые шаги к самоорганизации, и эта вынужденная самодеятельность местных властей была, по его мнению, одновременно и здоровой, и уменьшающей влияние деспотизма⁹. Иначе говоря, он увидел в России зачаточные формы местного самоуправления. Однако путь его развития представился Актону вредоносным: коммунистическим; по его мнению, идея личной свободы не могла здесь возторжествовать и утвердиться без уничтожения всей системы. «Коммунистическая система на деле столь же губительна экономически, сколь и политически... Личная свобода невозможна без личной собственности».

В первой из лекций Актона по истории свободы¹⁰ содержится ставшее знаменитым высказывание о том, что судьбу швейцарца, заведомо лишённого надежд оказать влияние за пределами того скромного кантона, гражданином которого он является, он предпочёл бы судьбе гражданина великолепной Российской империи со всеми её европейскими и азиатскими владениями, потому что первый, в отличие от второго, свободен.

Это предпочтение демократических режимов не имело под собою опыта, связанного с Соединёнными Штатами. Актон посетил эту страну в 1853 году и вынес о ней весьма пренебрежительное мнение. Спустя пять лет он все ещё не видел больших достоинств в американской конституции, находя американское государственное устройство столь же несовершенным, как и российское: в России, по его мнению, правительство было слишком абсолютистским, в Америке – слишком народным¹¹. Но в свои зрелые годы он обратился к Американской революции с иными мыслями: увидел в ней начало новой эпохи истории земли. Все прежние попытки установления демократии завершились теми или иными формами тирании большинства над меньшинствами. Но в этой стране, считал Актон, демократия положила пределы даже верховной власти народа и сумела поставить под защиту права меньшинств. Америка произвела на свет две идеи, которые старой Европе было очень не просто принять: во-первых, что революция может быть актом справедливости и способствовать творению справедливости; и во-вторых, что конституция, которая пытается вручить управление народу, прежде всегда рассматривавшаяся как небезопасная, ибо она подразумевает передачу власти в руки невежественных и продажных избирателей, может при некоторых условиях обеспечить надёжные основы для организации государства без того, чтобы его правительство утратило эффективность или справедливость. В итоге он пришёл к выводу, что американская конституция представляет собою «самое величественное государственное устройство в истории человечества»¹², и адресовал свое восхищение этим устройством автору проекта конституции Соединённых Штатов Александру Гамильтону.

Предпочтение, оказанное Актоном свободной конституции, не было основано на восхищении образцами французской демократии. Свободная конституция должна обеспечить стабильность, между тем во Франции всего за три четверти столетия произошло целых четыре,

⁸ Hist. of Freedom in Antiquity, in Fears 1,7; см. с. 41–42 наст. изд.

⁹ Report on Current Events 1860, in Fears 1, 50.

¹⁰ См. с. 38 наст. изд.

¹¹ Acton to Simpson 16 February 1858; in: Letters to Simpson, 1, 8–9.

¹² Fears 1, 402.

а по другому счету и пять революций. Настоящая конституция должна быть составлена так, чтобы исключить всякую необходимость в революции, иначе говоря, она должна предусматривать все необходимые средства для мирной реорганизации общества. Актон был склонен искать причину неудач французского народа в его нравственной деградации. Французы были достаточно умны для того, чтобы ввести конституцию, достойную свободного народа, но их подвела нехватка необходимого тут нравственного равновесия. Этот взгляд Актона на французов представляется поверхностным¹³.

Актон считал, что всякое правительство, возникшее на основе самой беспримесной демократии, иначе говоря, в результате прямых всенародных выборов в единственное собрание, обладающее абсолютной верховной властью, с неизбежностью скатывается к тирании, так что все виды беспримесной демократии нуждаются в самоограничении в форме смешанной конституции. Этот урок он вынес из рассмотрения Афинской республики, об устройстве которой идет речь в первом очерке: «Урок, добытый опытом афинян... что всенародная власть, осуществляемая правительством наиболее многочисленного и потому наиболее сильного класса, является злом, сопряженным с абсолютной монархией, и практически по тем же причинам требует институтов, предохраняющих эту власть от самой себя и устанавливающих высшую власть закона, способную противостоять произвольным поворотам общественного мнения».

Наконец, третьим принципом Актона было утверждение высшей ценности личности. Все государства хотят, чтобы, по его словам, «пассажиры существовали ради корабля», или, если воспользоваться другой его формулировкой, «предпочитают корабль экипажу»¹⁴. Все правительства должны, ради своего выживания, согласовывать интересы множества людей; достичь этого, то есть обеспечить довольство масс, правительству значительно проще, если оно по возможности не берет в расчет прав меньшинства народа. Некоторые писатели утверждали, что подобно Афинам и другим древнегреческим демократиям современная демократия не может существовать без той или иной формы рабства, поскольку бедой современной демократии является ее тяготение к социализму (коммунизму), то есть системе, которая, по убеждению Актона, подавляет права личности, ибо личные права и свободы в принципе не могут быть осуществлены, если они не предполагают владения частной собственностью. «Народ, питающий отвращение к частной собственности, лишен первого элемента свободы»¹⁵. (Но может ли такой народ существовать в действительности? Актон, разумеется, мог лишь вообразить его, исходя из сочинений французских коммунистов-идеалистов типа Бабефа и Прудона; это было по видимости непротиворечивое умственное построение кабинетного теоретика, созданное в отрыве от интересов реальных людей, составляющих человеческое общество, в котором каждому присуще естественное стремление к увеличению своего достатка.) Любые формы рабства, идет ли речь о крепостном праве или о массовом принудительном труде, были абсолютно несовместимы с нравственными принципами Актона.

Историк отдавал себе отчет в том, что уважение властью священных прав личности может затруднить управление государством. Он, кроме того, сознавал, что хотя права человека уменьшают угрозу свободе, они вместе с тем создают благоприятную почву для тирании большинства. Но слова о законности прав человека, столь часто им повторяемые, были для него отнюдь не только словами, а необходимой основой всякого нравственного государства. Поэтому всеобщее уважение нравственных принципов должно, считал он, обязательно утвердиться и в демократическом обществе, если ему суждено устоять. О древних Афинах он однажды написал следующее: «Недолгое торжество афинской демократии и ее быстрый закат относятся к эпохе, не обладавшей установленными представлениями об истине и заблуждениях... Жизнью

¹³ Cf. Fears 3, 600.

¹⁴ Fears 1, 18, 400.

¹⁵ Fears 1, 431.

правила воля человека, а не воля Бога, так что каждый человек или группа людей имели право делать то, что им под силу. Тирания не рассматривалась как заблуждение, и со стороны человека было лицемерием отвергать те наслаждения, которые она сулила...» Таков один из его самых сильных фрагментов, выражающих убеждение, что свобода не может долго существовать там, где большинство населения не привержено нравственным принципам и видит в государстве не более чем щит от внешних врагов и преступников или же только силу, обеспечивающую благосостояние за счет централизации валютной системы, торговли и коммуникаций.

Читатель увидит, какую важную роль в развитии этих представлений Актон отводил вкладу античных стоиков: их поискам воли, стоящей над волей большинства общества. Собрание людей заурядных способно единодушно высказаться за решение совершенно ошибочное или полностью безнравственное. Следовательно, существует критерий права, связывающий крайние проявления настроений и порывов народа и независящий от единодушной воли всех голосующих, не говоря уже о воле большинства. Здесь, однако, имеется трудность, преодолеть которую Актон не пытался: для стоиков именно всеобщая совесть человечества диктует нам свои нравственные принципы, которым должны неукоснительно следовать все законодатели. Так что выходит, что фактически мы знаем об обязанностях государства лишь на основании рассмотрения повелений совести граждан, а эта коллективная совесть может так же точно заблуждаться, как и собрание избирателей.

В своих построениях Актон исходит из предпосылки весьма сомнительной – сомнительной потому, что ей трудно сообщить непосредственное содержание, – именно, что все люди «рождены свободными»¹⁶. Иначе говоря, каждый человек от природы имеет право быть свободным, уже просто в силу того, что он существует. «Ни война, ни деньги, – утверждал стоик Зенон, – не могут сделать одного человека собственностью другого». Но поскольку никто не обладает действительной свободой, которой должен обладать уже по праву рождения, – то есть человек владеет ею лишь в отвлеченном, абсолютном праве, но не в реальной жизни, – то за свободу необходимо бороться.

Путь к свободе, по мнению Актона, прокладывают усилия разума и совести выдающихся людей. Никто не в состоянии создать свободное общество в одиночку, просто сев за стол и набросав проект его конституции. Конституция свободного общества вырастает в ходе истории, из конкретных обстоятельств народной жизни. «В деле создания свободной формы правления чистый разум столь же беспомощен, сколь и обычай... общество свободных может возникнуть только в результате долгого, многообразного и мучительного опыта»¹⁷. На Актона сильное впечатление произвело высказывание шотландского философа сэра Джеймса Макинтоша, вига, известного своим сочувствием Французской революции, которого последовавший за нею террор обратил в одного из самых непримиримых ее врагов. «Конституции, – сказал он, – не делаются: они вырастают»¹⁸. Не законоведы, совставляющие проект конституции, и не политические деятели, пытающиеся отыскать наилучший выход из трудных обстоятельств реальности, представлялись ему действительными творцами свободы. Свобода вытекает из нравственных идей, прилагаемых к политике и конституциям. Потому-то Актон и говорит в первом из помещенных в этой книге очерков, что наше правосудие больше обязано Цицерону и Сенеке, Винé и Ток-виллю, чем историческим законоуложениям. По его убеждению обязано оно и древнееврейской традиции, в недрах которой конституция складывалась столетиями, утверждаясь на основе нравственных аксиом, в постоянной борьбе против преступавших их правителей, вырабатывалось на основе «принципа, согласно которому всякая политическая власть подлежит оценке и преобразованию в соответствии с предписаниями закона нерукотворного».

¹⁶ Fears 1, 24.

¹⁷ Fears 1, 19; см. с. 66 наст. изд.

¹⁸ Цитируется в Fears 1, 52.

В отличие от некоторых других авторов, Актон не слишком часто говорит о свободе как необходимом условии полноценного формирования и развития человеческой личности, – но чувствовал он это глубоко, о чем свидетельствуют следующие его слова: «Свобода не есть средство достижения более высокой политической цели. Она сама – высочайшая политическая цель. И необходима она не ради хорошей общественной администрации, но для обеспечения безопасности на пути к вершинам гражданского общества и частной жизни»¹⁹.

Он всегда видел, сколь хрупкой собственностью является свобода – «изысканный плод зрелой цивилизации». Он также вполне сознавал, как много у нее врагов. Государствам присуще вступать в войны, а воюющие страны несвободны. Неграмотные люди не могут быть свободными, ибо отданы на милость пропаганды, притом еще, что их собственные суеверия и предрассудки лишают свободы других людей; так религиозные меньшинства все еще преследуют и ограничивают в правах представителей других вероисповеданий, находящихся среди них в меньшинстве. Голодающий народ тоже едва ли может быть свободен, поскольку хлеб для него важнее свободы, и человек не станет помышлять о свободе, пока не найдет средства утолить голод. Те, кто ищет власти, опираясь на армию или полицию, в наименьшей мере угрожают свободе. «Во все времена, – читаем мы в первом абзаце этой книги, – искренние друзья свободы были редки».

Тем не менее он верил в прогресс цивилизации, зависящий от прогресса свободы, более того, по временам обольщался настолько, что считал этот прогресс неизбежным, думал, что свобода на Западе «медленно, но столь же и несомненно, все далее и далее простирает над цивилизованным миром свои всепобеждающие знамена». Для тех, кому довелось жить в XX веке, в эпоху Гитлера и Сталина, слова эти звучат почти как насмешка. Но именно эта вера в свободу явилась основой того влияния, которое Актон имел в поколении мыслящих людей, непосредственно сменившем его собственное поколение, и даже – пожалуй, и особенно – в том поколении, которое с немалым для себя удивлением столкнулось в жизни с фашистами и нацистами, тогда как ожидало увидеть правительства, созданные народом и служащие интересам народа. Он сделал свободу не только политической целесообразностью, но моральной правотой, справедливостью, и сам находился во власти мистического чувства, что это моральная правота постепенно завоевывает мир.

Он ненавидел все формы угнетения: военное сословие, попирающее слабых; класс богачей, изводящий голодом бедноту; элитарную верхушку образованного общества, эксплуатирующую неграмотных. Он знал, что классы – вовсе не однородные категории; если вы, например, хотите составить правительство из лучших людей, вы не сможете отождествить этих лучших ни со всей совокупностью образованных людей, ни с классом обладателей недвижимой собственности в полном его составе, ни со всеми теми людьми, которые обладают политическим опытом. Некоторые из представителей «класса непросвещенных» обнаружат гораздо больше ответственности в своем отношении к государству, чем некоторые из людей образованных. Некоторые из бедных людей значительно лучше подойдут для хорошего правительства, чем богатые, уже просто потому, что хорошему правительству порою приходится наступать на эгоистические интересы богатых. Словом, мы не должны воображать себе классы как некие однородные образования, все представители которых мыслят сходным образом.

Эта ненависть к угнетению и коррупции пронизывает все сочинения Актона. Он ни на минуту не упускал из виду опасности классовой борьбы и необходимости уберечь от нее слабейшие слои населения. По его убеждению, исторический опыт должен был доказать, что одному человеку в политике полностью доверять нельзя – особенно там, где речь для него идет о власти над другими. При этом Актона не переставал мучить вопрос: как, отказав в доверии одному, вы сможете довериться двадцати – или, скажем, миллиону? Внимательно вчитываясь

¹⁹ Fears 1, 22; см. с. 72–73 наст. изд.

в сочинения различных политических мыслителей, от античных времен до современного ему поколения, он видел, что многие из знаменитых учителей отстаивали доктрины преступные или абсурдные. Он не доверял человечеству, даже его наиболее элитарной части.

И все же это был ученый, не устававший пристально интересоваться достижениями человечества и восхищаться ими. Здесь скрывается другая причина его влияния: он мог видеть коррупцию, рабство, преступления – и вместе с тем с душевным подъемом говорить о достижениях общества как целого. Он, например, считал социализм и коммунизм ошибочными учениями, поскольку они исключали собственность, необходимую для всякого свободного общества, но это не мешало ему видеть их притягательность. В очерке о национальном самоопределении, перевод которого здесь помещен, Актон пишет, что социализм «ставит своей целью показать тяготы существования под ужасающим бременем, налагаемым современным обществом на плечи людей тяжелого труда. Он не только развивает представления о равенстве, но открывает путь к спасению для страждущих и голодных. При этом сколь бы ни было на деле ложным предлагаемое решение, но требование спасти беднейших людей от гибели законно и справедливо; и если даже при этом свобода приносится в жертву спасению человека, то все же насущнейшую, первоочередную цель можно считать хотя бы в принципе решенной»²⁰.

Он мог видеть слабые стороны и предрассудки церквей, он не оправдывал духовенство, эксплуатировавшее паству, – но все это не заслоняло от него огромного вклада, который иудаизм и христианство внесли в дело развития цивилизации и формирования идей свободы. Он понимал природу древнегреческой тирании, охлократии, рабства, ничуть не обольщаясь насчет этих институтов, и все же для поколения, сменившего в Афинах поколение Перикла, нашел такие слова: «... их достижения в красноречии по сей день являются предметом зависти всего мира, их сочинения по истории, философии и политике остаются непревзойденными». Он видел, что несмотря на пронизывавшую то или иное общество коррупцию, жившие в нем мыслители были способны произвести на свет «благородную литературу», «бесценные сокровища политического знания». Не придерживаясь теории «великих личностей в истории», он все же испытывал истинное восхищение перед многими: перед тем же Периклом, перед Платоном.

Актон полагал, что на основании изучения истории ему удалось установить несколько условий, существенных для свободного общества, хотя и не абсолютно необходимых для его формирования. Прежде всего, он убежден, что современный национализм (впрочем, сам он этим словом не пользовался) вредит делу свободы. Крайний национализм всегда попирает права меньшинств. Актону не довелось увидеть дел, творившихся при фашистском и нацистском режимах, но и в прошлом человечества он отыскал немало подтверждений своей правоты.

Отсюда он сделал весьма необычный вывод от том, что смешение племен в одном государстве является гарантией свободы. Швейцария более свободна потому, что в ней живут этнические группы, говорящие по-французски, по-немецки, по-итальянски и на ладино и восходящие к создавшим эти языки народам; Великобритания своими свободами обязана тому, что в ней вместе живут шотландцы, ирландцы, валлийцы и англичане; Австро-Венгрия более свободна, потому что включает Чехию, Хорватию и Словению; Америка тоже свободнее, чем была бы, не будь она плавильным тиглем рас и племен. Живи Актон в наше время, в 1991–1992 годах, он, вероятно, был бы не на шутку озабочен мыслью о том, не собирается ли Россия разделить бывший Советский Союз не только на отдельные республики, но и на более мелкие национальные территории, ибо усмотрел бы в этом опасность обострения национализма и, следовательно, серьезную угрозу свободе. Актон, таким образом, отверг учение своего старшего современника Джона Стюарта Милля, согласно которому для создания свободного общества

²⁰ Fears 1, 19; см. с. 180–181 наст. изд.

необходимо, чтобы границы государства совпадали с границами расселения этнически однородного племени.

Справедлива ли эта теория о смешении народов, вопрос другой. Швеция дает пример устойчивой демократии, хотя едва ли можно говорить о наличии в ней смешанного населения. Но несомненно, что опыт истолкования истории привел Актона к мысли о предпочтительности федеративных государств типа Швейцарии или Соединенных Штатов, когда речь идет о защите интересов личности и меньшинств. При жизни Актона протекал процесс объединения Германии, причем историк не считал целесообразным, чтобы этот процесс зашел слишком далеко, ибо предвидел угрозу безопасности Европы. В целом же он полагал, что федеративные структуры благотворно скажутся на ходе цивилизации, ибо когда два или более народа живут в рамках одного государства, под единым правительством, культурные взаимовлияния по-разному одаренных племен, дополняя друг друга, способствуют здоровому развитию общества как целого. «Именно в плавильном котле государства происходит слияние, при котором бодрость, осведомленность и способность одной части человечества передаются и становятся достоянием другой»²¹. Возможно, что, отправляясь от тех же посылок, он почерпнул бы немало воодушевления в 1990-х, наблюдая процесс продвижения Западной Европы в сторону федерализма.

Сочинения Актона насыщены ассоциациями, намеками и отсылками, изобилуют обобщениями, построенными на широком владении материалом. Иногда его документированные построения глубоки, детальны и энциклопедичны, иногда же они только широки. Он упоминает больше имен, чем того требует изложение. Порою его обобщения нуждаются в поправках с позиций более позднего критика, знающего последующий ход истории. Современному историку хотелось бы видеть в некоторых местах текста примечания и ссылки, подтверждающие то или иное суждение. У Актона мы находим утверждения излишне однозначные: точка зрения оказывается непременно или либеральной, или точкой зрения вигов; Карл II был «никчемным королем», английская революция 1688 года была громадным успехом цивилизации («неяркой зарей, занявшей в преддверии сияющего дня»)²².

Можно ли считать, что абсолютная власть хотя бы в некоторых обстоятельствах, особенно во время кризиса, оправданна – оказывается лучше всякой другой? Этого Актон допустить не мог. Перед ним был пример Неаполитанского королевства, где при дворе одного из царствовавших там Бурбонов его родной дед с успехом исполнял обязанности премьер-министра. Король неаполитанский считал, что его народ настолько беден, угнетен и невежествен, что попросту не может участвовать в политической жизни страны. Даруйте ему демократические институты – и вы своими руками расколете общество, посеете в нем вражду, а возможно, и кровопролитие. Куда лучше удержать всю власть, дать стране управление, укрепить общественный порядок, сделать все мыслимое, чтобы умерить страдания и нищету народа, строить школы, способствовать народному просвещению²³. Актон мог с полным правдоподобием нарисовать портрет абсолютизма, он знал, что в проникнутом коррупцией мире этот метод управления был недееспособной иллюзией.

Актон был убежден, что свобода печати – необходимое условие развития свободы гражданина и поэтому не предусмотрел никакой концепции на случай подавления или притеснения прессы. Он, кроме того, был убежден, что поскольку поиски свободы сосредоточены в индивидуальном сознании человека, то основной движущей силой этих поисков является религиозное сознание; для исторического подтверждения этого вывода он приводил данные о длившейся после Реформации борьбе за религиозную терпимость; именно исходя из этого он утверждал,

²¹ Fears 1, 426, Национальное самоопределение, см. с. 166 наст. изд.

²² Fears 1, 43–45; см. с. 52–55 наст. изд.

²³ Cf. Fears 1, 496.

что положение религии в государстве имеет первостепенную важность для сторонников свободного общества. «Религиозная свобода есть созидающее начало свободы гражданской, тогда как гражданская свобода есть необходимое условие религиозной»²⁴. В работе *Политические мысли о церкви* он формулирует это в простых словах: «Религиозное сознание абсолютно. Поэтому оно требует пространства для свободы личности. Мы не можем не делать всего, что нам под силу, для расширения пространства, внутри которого мы вольны жить и действовать, сообразуясь с нашей совестью». Поэтому «церковь не терпит тех разновидностей государства, в которых это право не признано. Она – непримиримый враг государственного деспотизма»²⁵.

Акстон твердо держался того мнения, что ни один правитель, будь то законный монарх или диктатор, не вправе осуществлять свою волю без согласия народа, и что народ может свергнуть правителя, нарушающего это условие и пытающегося превратить свою власть в тиранию, даже если он получил ее на законном основании. С одной стороны, Акстон был убежден, что государство, в котором существует пропасть между богатыми и бедными, не является справедливым, не может не стать в итоге государством, где бедных угнетают; с другой стороны, он полагал, что коммунистическая доктрина всеобщего равенства осуществима только посредством тиранической власти и, следовательно, не может обеспечить действительной свободы. О французской революции, начавшейся такими возвышенными надеждами, а закончившейся террором, он сказал: «страсть к равенству погубила надежды на свободу».

Стиль Актона отмечен любовью к эпитетам в превосходной степени, по временам индифферентным и несколько таинственным: «знаменитейший из гвельфских писателей» (Фома Аквинский), «одареннейший писатель среди гибеллинов» (Марсилиус Падуанский), «знаменитейший из философов» (Пифагор), «мудрейший человек в Афинах» (Солон), «замечательнейший из английских писателей XII века» (Иоанн Солсберийский), «наиболее образованный из англиканских прелатов» (архиепископ Ашшер) и «талантливейший из французов» (Боссюэ), «самый даровитый руководитель, когда-либо выдвинутый революцией» (Кромвель) «самый популярный из епископов» (Фенелон), «самый чистый консервативный разум» (Нибур), «самый высокоумный из греческих тиранов» (Периандр), «величайший теолог своего времени» (Жерсон), «самый знаменитый роялист формации» (Шатобриан), «замечательнейший и с наибольшей полнотой изученный из людей, принадлежащих истории» (Наполеон); наконец, Людовик XIV, «причинивший своей властью столько страдания и наделавший столько ошибок», как ни один из тиранов. Эта стилистическая особенность обнаруживает ту же склонность ума и тот же интеллектуальный навык, которые побудили Актона составить список «ста лучших книг».

Эта расположенность к абсолютизации, к безоговорочным суждениям не вполне согласуется с его собственными принципами писания исторических сочинений. Его учителем был Леопольд фон Ранке, его идеалом – образец беспристрастной и бесцветной истории, в котором историк полностью отсутствует, так что в конце концов мы можем достичь непредвзятости, той глубины знания всех относящихся к делу фактов, при котором представители двух противоположных точек зрения, систем образования и культурных основ полностью сойдутся в своем суждении об исторической личности: христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам Лютера, патриот французский и патриот немецкий – Наполеона.

Акстон отстаивал этот невозможный идеал, как если бы он был достижим, но сам не предпринимал серьезной попытки воплотить его в своих трудах. Происходило это вовсе не из-за его слабости как историка, но благодаря нравственному принципу, пронизывающему все его сочинения. Нравственное суждение не допускает никакой относительности. Историк, утверждал Акстон, не должен подыскивать оправдания людям путем помещения их в контекст их собствен-

²⁴ Fears 1, 47. См. с. 119 наст. изд.

²⁵ Fears 3, 29.

ного времени. Существует абсолютная и вечная мера нравственности, по отношению к которой немислим никакой компромисс. На историка возложена задача в высшей степени существенная: его предмет не только рассказывает людям, откуда они взялись, тем самым помогая им уяснить свою природу и избежать чувства беспочвенности и отсутствия корней; не только до известной степени указывает современникам возможности, позволяющие избежать ошибок во внешней политике, законодательном творчестве и социальной политике, – он, кроме того и в первую очередь, является арбитром нравственного прогресса и нравственного преуспеяния человечества, так что благородное и возвышенное призвание историка попросту несовместимо с компромиссом.

По временам читатели будут, надо полагать, раздражены обобщениями Актона, а в иных местах – непрозрачностью его идей или их изложения. Но они не пожалуют об усилиях, положенных на чтение этой книги. Ибо каждого, кто сделает попытку понять его, Актон заставит неотступно и настойчиво размышлять о важнейших причинах политических перемен в обществе, о том, как лучше и достойнее их осуществлять и развивать, о том, что следует выбрать в качестве целей политических и законодательных усилий, и – важнее всего – о месте нравственности в политике. Именно эта нравственная одаренность поставила его труды выше интересов историка девятнадцатого столетия, превратив его в мыслителя, выдержавшего испытание временем.

Январь 1992 г., Кембридж

Оуэн Чадвик, Regius Professor Emeritus of Modern History, University of Cambridge.

Избранная библиография

При жизни Актона печатались только отдельные его очерки и обзоры в различных журналах; кроме того, вышла в свет одна брошюра. После смерти историка двое его учеников, Дж. Н. Фиггис и Р. Е. Лоренс, опубликовали четыре тома его сочинений:

Lectures on Modern History, London 1906.

Essays and Studies, London 1907.

History of Freedom and Other Essays, London 1907.

Lectures on French Revolution, London 1910.

Важным современным изданием очерков Актона является книга *Selected Writings of Lord Acton*, edited by J. Rufus Fears, 3 volumes, Indianapolis 1985. Постраничные примечания во введении делаются на это издание.

Актон был автором интереснейших писем, посмертные коллекции которых обнажают ход его мысли. Познакомиться с ними можно главным образом по следующим четырем изданиям:

1. Дочь Гладстона, Мэри Дрю, разрешила Гер-берту Полу опубликовать большую часть писем Ак-тона к ней, которые и появились под его редакцией в издании:

Letters of Lord Acton to Mary, daughter of W. E. Gladstone, second edition, London 1913.

2. После издания очерков Актона Фиггис и Лоуренс подготовили к печати первый том его писем:

Selections from The Correspondence of the first Lord Acton, London 1917.

3. Виктор Концемиус издал три тома переписки Актона с его учителем Дёллингером: Ignaz von Döllinger – Lord Acton: Briefwechsel 1850–1890, München, 1963–1971.

Это превосходно выполненное издание является наиболее важным для понимания мыслей Актона.

Josef L. Altholtz, Damian McElrath and James C. Holland. The Correspondence of Lord Acton and Richard Simpson, 3 vols, Cambridge 1971–1975.

Исследования:

Лучшей биографией по сей день остается работа Гертруды Химмелфарб:

– G. Himmelfarb, Lord Acton: A Study in Conscience and Politics, Chicago 1962.

О либеральном католицизме:

– Josef L. Altholtz, The Liberal Catholic Movement in England, London 1962.

Характеристика личности Актона, его отношения с Гладстоном:

– Owen Chadwick, Acton and Gladstone, London 1976.

История античной свободы²⁶

Вслед за религией, свобода была и остается побудительным началом добрых поступков и обиходным оправданием преступлений. Так повелось с древности, с той поры, как ее семя упало в аттическую почву 2460 лет назад; так это и в наши дни, когда народы европейской расы вкушают собранный с ее древа урожай. Свобода – изысканный плод зрелой цивилизации; но едва ли столетие миновало с тех пор, как народы, уразумевшие смысл этого слова, решились быть свободными. В каждую эпоху на пути свободы стояли ее естественные враги: невежество и предрассудки; страсть к завоеваниям и любовь к праздности; жажда власти, присущая сильным, и потребность в хлебе насущном, ведущая слабых. Случалось, развитие свободы останавливалось на долгие годы и десятилетия – когда народы бывали поглощены борьбой с варварством или иноземными захватчиками; когда беспрестанная борьба за существование, лишая людей всякого понимания политики и интереса к ней, заставляла их искать случая продать свое первородство за чечевичную похлебку и оставаться в полном неведении относительно отброшенного ими драгоценного достояния. Во все времена искренние друзья свободы были редки, и всегда она торжествовала усилиями меньшинства, одерживавшего верх благодаря союзу с помощниками, чьи цели зачастую отличались от его собственных; да и союз этот, всегда опасный, по временам становился губительным, ибо противникам давал почву для противостояния, а между победителями разжигал распри над трофеями в самый час победы. Ни одно из препятствий не было столь неизменным и столь труднопреодолимым, как неопределенность понятия подлинной свободы и замешательство при выяснении ее сущности. Сколь ни велик ущерб от столкновения враждующих сторон, преследующих противоположные цели, ущерб от ложных идей – еще значительнее; его шествие по дорогам истории прослеживается как в накоплении познания, так и в исправлении законов. История общественных установлений есть часто история заблуждений и иллюзий; ибо достоинства наших установлений зависят от идей, положенных в их основу, и духа, охраняющего их целостность; их форма может оставаться неизменной, в то время как сущность утрачивается.

Несколько хорошо известных примеров из политической жизни нового времени пояснят, почему центр тяжести моей аргументации я выношу за пределы области законодательства. Часто приходится слышать, что наша конституция обрела свое формальное совершенство в 1679 году, когда был издан закон о неприкосновенности личности. Однако тотчас явился Карл II, всего два года спустя объявивший себя независимым от парламента. В 1789 году, в то самое время, когда в Версале заседали Генеральные штаты, – съехались после перерыва в несколько поколений и испанские Кортесы. Это почтенное собрание, возникшее прежде Великой хартии вольностей и нашей Палаты общин, немедленно обратилось к королю с нижайшей просьбой: воздерживаться от консультаций с его членами и проводить реформы, отправляясь от державной воли и мудрости его величества. Согласно общему мнению, непрямые выборы – гарантия консерватизма. Между тем все ассамблеи времен Французской революции были избраны непрямым голосованием. Другой признанной опорой монархии является ограничение числа избирателей. Но парламент Карла X, повторно избранный девяноста тысячами граждан, поднялся против своего суверена, опрокинул его трон и высказался за республику, – тогда как парламент Луи-Филиппа, избранный в соответствии с конституцией, предоставившей право голоса двумстам пятидесяти тысячам граждан, раболепно поддерживал реакционную политику его министров, – и его фатальный раскол, закрыв дорогу реформе, поверг монархию во прах и дал возможность Гизо получить большинство в 129 голосов государственных служащих. Законодательный орган, члены которого не получают жалованья, по вполне очевидным причинам

²⁶ Лекция, прочитанная 26 февраля 1877 года перед членами Бриджнортского института.

является более независимым, чем большинство законодательных собраний континентальной Европы, где депутаты находятся на содержании государства. Но это правило теряет силу в Америке, где было бы крайне неразумно посылать представителя за тридевять земель от дома, на расстояние, не уступающее расстоянию отсюда до Константинополя, – с тем чтобы он в течение целого года жил в самой дорогой из столиц за свой счет. Согласно закону и при взгляде со стороны американский президент является наследником Джорджа Вашингтона, и отпущенная ему власть все еще ограничена Филадельфийской конвенцией. В действительности же новый президент [Р. Б. Хейс] в такой же мере отличается от администратора, каковым глава правительства мыслился отцами республики, в какой монархия отличается от демократии, – недаром ожидается, что он произведет 70 тысяч перемещений и назначений в общественном секторе, тогда как пятьдесят лет назад Джон-Куинси Адамс уволил в свое президентство только двух человек. Кажется вполне очевидным, что покупка судебных должностей не имеет ни малейшего оправдания, – и все же во времена старой французской монархии именно эта чудовищная практика создала единственную в стране корпорацию, способную противиться воле короля. Коррупция в официальных кругах, которая разрушила бы республику, в страдающей от абсолютистского гнета России предстает как благодная отдушина. Существуют условия, при которых едва ли преувеличением будет сказать, что самое рабство на определенном этапе есть путь к свободе. Именно поэтому мы на нашем сегодняшнем заседании менее озабочены мертвой буквой эдиктов и статутов, чем живой человеческой мыслью. Сто лет назад каждому было известно, что за одну аудиенцию у чиновника канцлерского суда приходится платить как за три, – и никто не обращал на эту гнусность внимания, пока одному молодому юристу не пришло в голову, что следовало бы поставить под вопрос и подвергнуть самому взыскательному и детальному рассмотрению самую систему, при которой возможны подобного рода вещи. Тот день, в который эта мысль сперва забрезжила в сознании, а затем озарила ясный и суровый ум Иеремии Бентама, в политическом календаре значит больше, чем все без изъятия дни властвования многих политических деятелей. Не составит большого труда отыскать несколько строк у блаженного Августина или фразу из Гроция, которые перевесят постановления пятидесяти парламентов. Наше правосудие большим обязано Цицерону и Сенеке, Винé и Токвилю, чем законам Ликурга или пяти кодексам Франции.

Под свободой я понимаю гарантию того, что каждый человек, по велению долга и совести выступивший против власти или большинства, против обычая или общественного мнения, обладает социальной защищенностью. Государство определяет обязанности граждан и намечает границу между добром и злом – но лишь в самом общем виде, так что и в том, и в другом его, государства, компетенция не простирается далее весьма тесной сферы. За пределами, установленными необходимостью поддержания своего благоденствия, государство может оказывать людям лишь косвенную помощь в той непрерывной борьбе, каковой всегда является человеческая жизнь, – и помощь эта сводится к поощрению начал, удерживающих человека от дурных поступков и влечений: в поощрении религии и просвещения, в распределении общественного богатства. В древности государство присваивало себе права, на деле ему не принадлежащие, и тем самым вторгалось в область личных свобод. В Средние века оно обладало слишком незначительной властью – и позволяло вторгаться в эту область другим силам. Государства Нового времени постоянно впадают то в ту, то в другую крайность. Наиболее убедительным показателем, по которому мы судим, является ли государство действительно свободным, есть та степень безопасности, которой в нем пользуются меньшинства. Свобода, по этому определению, есть существенное условие веры и ее попечительница, – соответственно, и первая иллюстрация моей теме содержится в истории избранного народа. Государство древних евреев представляло собою федерацию, державшуюся не на политическом авторитете власти, а на племенном и религиозном единстве, и основанную не на применении силы, а на добровольном завете с Богом. Принцип самоуправления осуществлялся не только в каждом колене изра-

ильском, но в каждой группе, состоявшей из по меньшей мере 120 семей; перед лицом закона не было ни привилегий, вытекающих из общественного положения, ни неравенства. Монархия была столь чужда примитивному духу общины, что вызвала к жизни знаменитый протест пророка Самуила и его же предостережение, оправданное впоследствии всеми царствами Азии и многими королевствами Европы. Трон опирался на соглашение, и царь не получал вместе с ним права предписывать законы народу, не признающему иного законодателя, кроме Бога, народу, чьей высочайшей политической целью было восстановление общественного уклада в его первоизданной чистоте и создание правительства, отвечающего освященному небом идеалу. Одержимые духом подвижники, взращенные под сенью непрерывной череды пророчеств против узурпации и тирании, неизменно призывали помнить, что законы даны Небом и стоят выше греховных земных правителей; эти люди отвращали взгляд от преходящей земной власти, от царя, священнослужителей и сильных мира сего, и обращали его к целящим силам, дремлющим в целомудренной совести народных масс. Так библейский народ своим примером проложил пути, аналогичные всем последующим путям обретения свободы, создал доктрину национальной традиции и доктрину ниспосланного свыше закона: принцип, согласно которому конституция вырастает из корней, формируется не в результате крутых перемен, но в процессе развития; а также принцип, утверждающий, что всякая политическая власть подлежит оценке и преобразованию в соответствии с предписаниями закона нерукотворного. Действие этих принципов, в согласии или в рассогласовании, занимает собою все то пространство, которое мы собираемся вместе пройти.

Столкновение между свободой, процветающей под установлениями божественной власти, и абсолютизмом земных правителей обыкновенно заканчивалось катастрофически. В 622 году верховной властью в Иерусалиме была предпринята чрезвычайная попытка преобразовать и тем уберечь государство. Первосвященник иерусалимского храма вручил царю и народу священную книгу – напоминание об оставленном и забытом людьми божественном законе, – и царь и народ торжественно поклялись соблюдать его. Однако этот ранний пример ограниченной монархии и главенства закона продлился недолго и распространения не получил, – и те силы, с помощью которых в итоге была завоевана свобода, следует далее искать в другом месте. В том самом 586 году, когда волна азиатского деспотизма захлестнула город, бывший – и вновь имевший предназначение стать – святилищем свободы на Востоке, росток свободы обрел себе новую почву на Западе, под защитой гор, моря и мужественных сердец другого народа²⁷; здесь было возвращено это величественное древо, под сенью которого мы живем и поныне – и которое столь медленно, но столь же и несомненно, все более и более простирает над цивилизованным миром свои несокрушимые ветви.

Говоря словами знаменитого высказывания знаменитейшей писательницы континентальной Европы²⁸, свобода – установление древнее, а нов именно деспотизм. Новейшие историки гордятся тем, что доказали справедливость этой максимы. Эта истина нашла себе подтверждение в героическую эпоху Древней Греции, а в тевтонской Европе заявила о себе с еще большей наглядностью. Где бы мы ни проследили раннюю историю арийских народов, мы открываем зачатки того, что при благоприятных обстоятельствах и деятельной культуре могло развиваться в свободные общества. Эти зачатки показывают наличие некоторого общего интереса к общественно важным вопросам, отсутствие чрезмерного почтения к внешней власти, неудовлетворенность работой государственной машины и главенствующей ролью государства. Там, где разделение собственности и труда не завершилось, там не вполне вычленились также и классы, и власть. До тех пор, пока общества не подвергаются испытанию сложнейшими проблемами цивилизации, они могут избежать деспотизма, – как общества, не возмущаемые религиоз-

²⁷ Имеются в виду афиняне. (Все примечания принадлежат переводчику, если не указано иного.)

²⁸ Имеется в виду мадам де Сталь.

ным многообразием, свободны от гонений. Говоря вообще, патриархальные формы не в силах препятствовать росту могущества абсолютистского государства там, где начинают заявлять о себе трудности и соблазны современной жизни; и едва ли возможно – за одним превосходным исключением, обсуждение которого не входит сегодня в мои планы, – проследить выживание этих форм в институтах последнего времени. За шестьсот лет до Рождества Христова абсолютизм обладал неограниченной властью. На Востоке он неизменно находил поддержку жречества и армии. На Западе, где не было священных книг, требующих опытных интерпретаторов, и жречество не обладало таким влиянием, власть сверженного короля переходила в руки аристократии. В результате на протяжении многих поколений мы имеем примеры жестокого классового господства, угнетения богатыми бедных, невежественными – мудрых. Дух этого господства нашел себе страстное воплощение в словах аристократического поэта Феогида, человека образованного и талантливого, который клялся, что готов пить кровь своих политических противников. Неудивительно, что многие граждане искали избавления от такого рода угнетателей в не столь невыносимой тирании революционных узурпаторов. Это лекарство придало старому злу новую форму и новый заряд энергии. Тираны часто оказывались людьми удивительных способностей и достоинств, пример чему дают некоторые из кондотьеров, в XIV столетии становившиеся владетельными князьями итальянских городов; но права человека, основанные на равенстве перед законом и разделении власти, не осуществлялись нигде.

От этого повсеместного вырождения мир был спасен самым талантливым из народов. Афины, подобно другим городам, сбитые с толку и угнетенные родовой аристократией, сумели избежать насилия – и поручили Солону пересмотреть древние законы ионийцев. Это был счастливейший выбор в истории. Солон оказался не только мудрейшим человеком в Афинах, но и величайшим политическим гением древности; и та естественная в своей простоте, мирная и бескровная революция, с помощью которой он избавил Аттику от тирании, стала первым шагом на пути, которым в своем торжестве следует наш век, – она учредила власть, способную сделать и сделавшую для возрождения общества более, чем какая-либо иная сила на земле, исключая лишь богооткровенную религию. Прежде верхушка общества обладала правом создавать и проводить в жизнь законы, – Солон оставил за нею это право, лишь передав богатству то, что прежде было привилегией родovitости. Только богатым было под силу нести бремя общественной службы, налогообложения и военных расходов, – и Солон предоставил им участие в управлении полисом, пропорциональное их достоянию. Бедные были освобождены от прямых налогов, но лишены права занимать общественные должности. Однако законы Солона давали им право голоса в народном собрании при выборе должностных лиц из числа представителей имущих граждан и право требовать от народных избранников отчета в их деятельности. Эта уступка, по видимости столь незначительная, положила начало далеко идущим переменам. Солон утвердил мысль о том, что человек должен обладать голосом при выборе тех, чьим моральным устоям и мудрости он вверяет свое состояние, свою семью и самую свою жизнь. Эта мысль совершила настоящий переворот в представлении о земной власти, ибо возвестила воцарение нравственного начала, поставив в зависимость от него всякую политическую власть. Место навязанного силой правительства заступило правительство общественного согласия; пирамида, стоявшая на своей вершине, была перевернута – и встала на основание. Дав каждому гражданину право находиться на страже своих интересов, Солон сделал первый шаг в сторону демократизации государства. Величайшая слава правителя, сказал он, состоит в создании народного правительства. Полагая, что ни одному человеку не следует доверять вполне и безусловно, он поставил власть имущих под бдительный контроль тех, кому они служат.

Прежде единственным известным средством умиротворения политических беспорядков было сосредоточение власти. Солон задался целью добиться того же результата путем распределения власти. Он вручил рядовым гражданам ту долю участия в делах государства, кото-

рой, как он полагал, они в состоянии распорядиться, – с тем, чтобы избавить государство от случайных и склонных к произволу правительств. Сущность демократии, провозгласил он, – не знать иного властителя, кроме закона. Солон выявил принцип, согласно которому ни одна из форм политической организации не является ни окончательной, ни сакральной, и каждая обязана соотноситься с обстоятельствами; в деле пересмотра старых уложений и создания своей конституции он сумел обойтись без нарушения нормального течения жизни или политического равновесия – и в общем показал себя столь блистательно, что спустя целые столетия после его смерти афинские ораторы приписывали ему и утверждали его именем всю без изъятия структуру афинского законодательства. Самое направление развития этого законодательства было определено основополагающей доктриной Солона, согласно которой политическая власть должна быть пропорциональна общественному служению. В ходе Персидской войны демократические учреждения оттеснили систему подчинения евпатридам, – и на флоте, очистившем Эгейское море от азиатов, служил и воевал беднейший афинский люд. Этот класс, чье мужество спасло государство, а с ним и развитие европейской цивилизации, завоевал себе в обществе право на большее влияние и привилегии. Государственные должности, прежде бывшие монополией богатых, внезапно открылись бедным, – и чтобы гарантировать им участие в управлении, все магистраты, кроме наивысших, стали распределяться по жребию.

В эпоху увядания древней власти не существовало признанного стандарта нравственного и политического права, исходя из которого могли бы складываться динамичные общества, быстро приспособляющиеся к переменам. Нестабильность, характерная для структур этого периода, поставила под угрозу самые принципы управления. Национальные культы вызывали все большие сомнения, а сомнение пока еще не прокладывало путей познанию. В прежние времена нормы общественной и частной жизни воспринимались как воля богов, – но эти времена миновали. Бесплотная богиня Паллада афинян и солнечный бог Аполлон, чьи оракулы, изрекавшиеся в святилище между двумя вершинами Парнаса, так много сделали для греческого народа, – способствовали поддержанию возвышенного религиозного идеализма; однако когда просвещенные греки научились прилагать присущий им изощренный дар размышления к системе наследственных верований, они быстро осознали, что бытующие представления о богах портят жизнь и ведут к общественному вырождению. Народная нравственность более не поддерживалась народной религией. Моральные предписания, за которыми больше не стояла воля олимпийцев, не находили себе подтверждения и в книгах. Не было освященного временем писания, истолковываемого знатоками, не было учения, свидетельствуемого людьми признанной святости, подобными учителям Востока, чьи слова и по сей день управляют судьбами почти половины человечества. Усилие, предпринятое с тем, чтобы путем более пристального рассмотрения и точного размышления уяснить себе природу вещей, началось разрушением. Позже настало время, когда философы Портика и Академии развили предписания мудрости и добродетели в систему столь последовательную и всестороннюю, что почти не оставили работы христианским богословам. Однако тогда это время еще не пришло.

Переходная эпоха сомнений, в ходе которой греки проделали путь от неясных мифологических мечтаний до ослепительного света науки, была эпохой Перикла, и попытка поставить на место указов одряхлевшей власти некую незыблемую истину, попытка, начавшая вбирать в себя всю мощь греческого интеллекта, вылилась в грандиознейшее в языческой истории человечества движение, сделавшее так много, что даже после невероятных свершений христианства именно ей мы обязаны большей частью нашей философии и безусловно драгоценнейшей частью принадлежащих нам политических знаний. Глава афинского правительства, Перикл оказался первым государственным мужем, столкнувшимся с проблемой, которую выдвинуло на политическую сцену быстрое ослабление роли традиций в обществе. Не оставалось авторитетов в политике или нравственности, не поколебленных этим веянием. Никакому руководству невозможно было довериться вполне; не существовало критерия, к которому можно было бы

прибегнуть в качестве средства для регулирования или отрицания преобладавших в народе убеждений. Народное представление о правильном и достойном могло быть ошибочным, но не было способа проверить, так ли это на деле. В практических вопросах народ был носителем знания о добре и зле, – следовательно, и носителем власти.

На этом заключении покоилась политическая философия Перикла. Он решительно отстранил все подпорки, еще поддерживавшие преимущества богатства. На место древнего представления о том, что право на власть следует из обладания землей, он поставил новое, согласно которому власть должна быть распределена с той степенью равномерности, которая обеспечивает равную для всех безопасность. Мысль о том, что какая-то часть общины может управлять всей общиной, или что один класс может предписывать законы другому, он объявил деспотической. Но отмена привилегий означала бы лишь передачу преимущественного влияния из рук богатых в руки бедных, поэтому Перикл уравнивал положение, проведя закон, по которому афинскими гражданами считались только жители города афинского происхождения. Тем самым численность класса, который мы бы назвали третьим сословием, была сведена к 14 тысячам граждан, и сделалась примерно равной численности представителей высших классов. Перикл держался того мнения, что афинянин, пренебрегающий участием в общественных делах, теряет и свою долю в общественном достоянии. Для того чтобы нужда не препятствовала общественному служению, он установил для бедных пособия, которые выплачивались из государственных фондов; ибо под его управлением дань и сборы с союзников доставляли афинской казне более двух миллионов фунтов стерлингов. Инструментом власти в его время было красноречие; Перикл правил Афинами, убеждая сограждан в правильности своих предложений. Каждый вопрос выносился на открытое обсуждение народного собрания, и любое влиятельное лицо подчинялось доводам рассудка. Мысль о том, что назначение конституции состоит не в утверждении преобладающих интересов какой-либо одной группы над прочими, но в ограждении интересов каждой из групп, в защите, притом с равной степенью бережности, независимости труда и неотчуждаемости собственности, в ограждении богатых от зависти, а бедных от угнетения, – знаменует собою высочайшее достижение греческой государственности. Она едва ли пережила великого патриота, постигшего ее глубину, – и вся последующая история представляет собою нескончаемые попытки нарушить общественное равновесие власти путем предоставления преимуществ то обладателям капитала, то землевладельцам, то наиболее многочисленной группе. Явилось поколение небывалой и никогда впоследствии не повторившейся одаренности, поколение людей, чьи достижения в поэзии и красноречии по сей день являются предметом зависти всего мира, чьи сочинения по истории, философии и политике остаются непревзойденными. Но для Перикла в этом поколении преемника не нашлось; никто не смог поднять скипетр народного правителя, выпавший из его руки.

Принятие афинской конституцией положения о том, что каждая группа интересов должна обладать правами и возможностью отстоять эти права, стало важнейшим шагом в развитии народов. Но те, кто терпел поражение при голосовании в народном собрании, оставались ни с чем. Закон не сдерживал торжествующего большинства и не защищал меньшинство, порою оказывавшееся в ужасном положении. Когда эпоха Перикла с его подавляющим авторитетом миновала, наступили времена ожесточенных и ничем не сдерживаемых классовых конфликтов, а Пелопоннесская война, в сражениях которой во множестве гибли представители высших классов, дала в народном собрании громадный перевес низшим классам. Неутомимый исследовательский пыл афинян спешил выявить смысл любого установления, подвергнуть проверке последовательность каждого принципа, и их конституция проделала свой путь от младенчества до дряхлости с беспримерной быстротой.

Срок всего двух человеческих жизней отделяет первые ростки демократии при Солоне от падения государства. Афинская история дает классический пример того, какие опасности таит в себе демократия при необычайно благоприятных для этого условиях. Ибо афиняне были

не только храбрыми патриотами, способными к великодушным жертвам: они были и наиболее религиозным народом древних греков. Они почитали конституцию, которая обеспечила им благосостояние, равенство и свободу, и никогда не подвергали сомнению основополагающие законы, регулировавшие огромную власть народного собрания. Они терпимо относились к широкому разнообразию мнений и подчас излишней свободе речей; а их гуманное обращение с рабами возбуждало негодование даже среди наиболее умных приверженцев аристократии. Наконец, они стали единственным народом античности, достигшим величия при демократическом строе. Однако обладание неограниченной властью, – той самой, что разъедает совесть, ожесточает сердца и лишает способности отчетливо мыслить монархов, – оказало свое деморализующее влияние на прославленную афинскую демократию. Ужасно находиться под гнетом меньшинства, но еще ужаснее находиться под гнетом большинства. Массы обладают неким скрытым энергетическим потенциалом, и когда он вырывается наружу, меньшинства редко могут противостоять ему. Что можно выставить против самовластной воли всего народа? Здесь не поможет ни мольба, ни обжалование, ни искупление; единственным прибежищем остается измена. Наиболее многочисленный и наиболее низкий класс Афин совместил в своих руках законодательную, судебную и до известной степени исполнительную власть. Господствовавшая философия тогда учила афинян, что нет закона более высокого, чем закон государства, и законодатель стоит выше закона.

Следствием стало то, что суверенный народ мог делать решительно все, что было в его власти, без малейшей оглядки на какие-либо представления о справедливости, исходя единственно из соображений своей выгоды. На одном из вошедших в историю народных собраний афиняне постановили считать чудовищным посягательством всякую попытку воспрепятствовать осуществлению решений народа, каким бы это решение ни оказалось. Не было силы, которая могла удержать их, – а значит, решили они, нет и сдерживающих обязанностей; они не будут отныне связаны никакими законами кроме ими же установленных. Так освобожденный народ Афин стал тираном, а его государственный строй, положивший начало европейской свободе, отошел в историю под знаком проклятия, с ужасающим единодушием произнесенного над ним всеми мудрейшими людьми древности. Афиняне погубили свой город, ибо пытались поставить ведение войны в зависимость от споров на рыночной площади. Подобно французской республике, они часто казнили полководцев, проигравших сражение. С зависимыми от них городами-государствами они обходились с такой несправедливостью, что в итоге утратили свою морскую империю. Богатых они грабили до тех пор, пока не вынудили их сговориться с врагами; наконец, они увенчали свой позор мученической смертью Сократа.

После того как неограниченная власть толпы длилась почти четверть века, от государства, по существу, не осталось ничего кроме имени, и афиняне, вконец измученные и отчаявшиеся, осознали причину постигшей их катастрофы. Они поняли, что для осуществления свободы, справедливости и равенства перед законом демократия в такой же мере должна ограничивать себя, как в прошлом должна была себя ограничивать олигархия. Они попытались вернуть себе былую славу – восстановить древний порядок вещей, который существовал, когда монополия на власть была отобрана у богатых, но еще не перешла полностью к бедным.

После провала первой попытки реставрации, памятной только тем, что всегда безошибочный в своих политических суждениях Фукидид назвал возглавившее ее правительство лучшим за всю историю Афин, была предпринята другая, более целеустремленная и основательная попытка. Враждующие партии примирились, провозгласили первую в истории амнистию и решили править совместно. Законы, освященные традицией, были сведены в кодекс, и было установлено, что ни одно из решений суверенного народного собрания не имеет силы, если оно не согласуется с этим писанным сводом законов. Была проведена отчетливая черта между нерушимыми, при всех обстоятельствах остающимися в силе положениями конституции, и указами, отражающими текущие нужды и понятия; буква закона, явившегося творением поко-

лений, была поставлена вне зависимости от подверженной игре настроений сегодняшней воли народа. Прозрение это пришло слишком поздно и уже не спасло республику. Но урок, добытый опытом афинян, навсегда остался в истории; ибо он учит, что всенародная власть, осуществляемая правительством наиболее многочисленного и потому наиболее сильного класса, является злом, сопряженным с абсолютной монархией, и практически по тем же причинам требует институтов, предохраняющих эту власть от самой себя и устанавливающих высшую власть закона, способную противостоять произвольным поворотам общественного мнения.

Рим следовал в разработке тех же проблем путями, напоминавшими пути подъема и спада афинской свободы, притом следовал более конструктивно, – но более значительный временный успех сменился здесь в итоге еще более страшной катастрофой. То, что откровенные афиняне развивали средствами доводов и убеждения, в Риме приняло форму конфликта соперничающих сил. Спекулятивная политика не соответствовала жестокому и практичному гению римлян. Сталкиваясь с трудностью, они избирали не наиболее многообещающий путь ее преодоления, а путь, указанный аналогиями; минутным порывам и воодушевлениям они придавали меньше значения, чем примерам и прецедентам. Своеобразный характер римлян побуждал их возводить происхождение своих законов к раннему периоду истории города; а их потребность обосновать непрерывность римских государственных установлений и избежать упрека в нововведениях нашла себе выражение в легенде о римских царях. Столь сильная приверженность традициям замедлила их прогресс; они продвигались вперед лишь под давлением необходимости, и для окончательного урегулирования вопроса часто требовалось, чтобы вызвавшая его ситуация повторилась. Конституционная история республики начинается с усилий патрициев, заявлявших, что только они и есть настоящие римляне, удержать в своих руках отобранную ими у царей власть, – в ответ на усилия плебеев разделить ее с патрициями. Этот спор, на который у порывистых и неутомимых афинян ушло время одного поколения, у римлян длился более двухсот лет, с момента отстранения плебса от участия в делах управления городом при сохранении за ним налоговой и служебной повинностей, и до 285 года, когда плебеи, наконец, добились политического равноправия. Вслед затем идут 150 лет беспримерного процветания и славы; а далее, из первоначального столкновения интересов, улаженного скорее на основе компромисса, чем теоретически, выросла новая борьба, безысходная.

Массы обедневших семей, разоренных нескончаемыми войнами, были поставлены в зависимое положение от примерно двух тысяч глав богатых аристократических родов, разделивших между собою всю обширную сферу управления государством. Когда необходимость в переменах достигла особенной остроты, братья Гракхи попытались вынудить богатые классы поделиться общественными землями с беднотой и тем облегчить ее положение. Старая знать, родовая и военная аристократия, оказала упорное сопротивление, но она владела и искусством уступок. Аристократия более молодая и заносчивая была к нему неспособна. Наиболее ожесточенные столкновения в этом противоборстве изменили самый характер народа. Соперничество за политическую власть велось с умеренностью – качеством, облагораживающим соперничество партий в Англии. Но там, где дело касалось материального существования, борьба достигала неистовства гражданских смут Франции. Отброшенный, побежденный богатыми в длившейся целых 22 года борьбе, народ, в составе которого двадцать тысяч триста человек зависели от общественных продовольственных раздач, готов был следовать за всяким, кто путем революции или переворота обещал доставить массам то, чего они не могли получить законным путем.

Обыкновенно сенат, который олицетворял собою древний и оказавшийся под угрозой порядок вещей, бывал достаточно силен для того, чтобы подавить всякого поднявшего голову народного вождя. Но вот явился Юлий Цезарь, поддержанный, с одной стороны, преданной ему армией, во главе которой он сделал беспримерную военную карьеру, а с другой стороны – изголодавшимися массами, чье расположение он купил своей безудержной либеральностью.

Человек, более кого бы то ни было владевший искусством повелевать, он рядом последовательных мер превратил республику в монархию, не прибегая для этого ни к ущемлению прав и интересов, ни к насилию.

До правления Диоклетиана империя сохраняла свои республиканские формы, но на деле воля императоров была столь же непререкаемой, как воля народа после победы трибунов. Но хотя власть императоров была произволом даже и в самых мудрых ее проявлениях, все же римская империя сослужила делу свободы лучшую службу, чем римская республика. Я не имею в виду сказать, что некоторые императоры по временам достойно распорядились вытекавшими из их колоссальной власти возможностями, – как, например, Нерва, о котором Тацит пишет, что этот властитель соединил монархию со свободой: вещи, при прочих обстоятельствах несовместимые; или что империя, как утверждалось в возносимых ей славословиях, была усовершенствованием демократии. В действительности она была едва прикрытой и отталкивающей деспотией. Но Фридрих Великий был деспотом – и, однако же, проявлял терпимость и приветствовал свободу слова. Оба Бонапарта были деспотами – но не существовало более приемлемых для народных масс правителей, чем Наполеон I в 1805 году, сразу после уничтожения им Республики, или чем Наполеон III в зените его могущества в 1859 году. Так же точно и Римская империя обладала достоинствами, которые по прошествии времени, особенно – значительного времени, беспокоят людей больше, чем трагическая тирания, ощущавшаяся в непосредственной близости от императорского дворца. Бедные получили от империи то, чего они тщетно требовали от республики. Богатым жилось вольготнее, чем при триумvirате. Привилегии римского гражданства были распространены на жителей провинций. Имперской эпохе принадлежит лучшая часть римской литературы, на нее почти полностью приходится создание римского гражданского уложения. Именно империя смягчила тяготы рабства, установила религиозную терпимость, положила начало законодательству о правах народов и создала совершенную систему законов о собственности. Свергнутая Цезарем республика была чем угодно, только не свободным государством. Она надежно гарантировала права гражданина, но свирепо попирала права человека; она позволяла свободным римлянам налагать жестокие наказания на своих детей и иждивенцев, не знать милосердия к должникам, заключенным и рабам. Важнейшие идеи прав и обязанностей, не занесенные на скрижали муниципального закона, но известные благороднейшим умам Греции, по существу, не брались здесь в расчет, а философия, занимавшаяся их построением, не единожды поносила как подстрекательская и нечестивая.

Но вот в 155 году в Риме с политической миссией появился афинский философ Карнеад. В перерывах между деловыми встречами он прочел две публичные лекции – с целью дать неграмотным покорителям его родины некоторое понятие о спорах, кипевших в аттических школах. На первой лекции он говорил о естественном праве, на второй – отрицал его существование, утверждая, что все наши понятия о добре и зле вытекают из безусловных правовых актов. Со времени этой достопамятной демонстрации умственной мощи побежденные держали своих завоевателей в рабстве. Самые выдающиеся общественные деятели Рима, такие как Сципион или Цицерон, в умственном отношении складывались и образовывались под влиянием греков, и римские законоведы впредь проходили суровую школу Зенона и Хрисиппа.

Если провести условную черту во II столетии, когда становится ощутимым влияние христианства, и задаться целью вынести суждение о политике античности исходя из ее фактического законодательства, то нашей оценке должен подлежать закон. Господствовавшие понятия о свободе были несовершенны, а попытки осуществить их не достигали цели. Упорядочение власти древним давалось легче, чем упорядочение свободы. Они вручали государству столько исключительных прав, как если бы хотели вовсе лишить человека точки опоры, с которой он мог бы отвергать юрисдикцию или устанавливать границы активности государства. Если мне позволено будет прибегнуть к выразительному анахронизму, то я скажу, что порок государства

классической эпохи состоял в том, что оно было одновременно и церковью, и государством. Нравственность была неотделима от религии, политика – от нравственности; в религии, нравственности и политике господствовал единый законодатель и единый авторитет. Государство, в ту пору делавшее прискорбно мало для образования и практической науки, для нуждающихся и беспомощных, для удовлетворения духовных запросов человека, тем не менее требовало от него напряжения всех его способностей, исполнения всех его обязанностей и повинностей. Личность и семья, различные объединения людей и подвластные страны – в громадной степени были материалом, который суверенная власть использовала в своих целях. Чем раб был в руках хозяина, тем гражданин был в руках общины. Священнейшие обязанности человека обращались в ничто перед лицом общественной пользы. Пассажиры существовали ради и во имя корабля. Пренебрегая интересами личности, нравственным благосостоянием и воспитанием греки и римляне разрушали жизненно важные элементы, на которых покоится процветание народов, – и вот семейные линии их угасли, страны обезлюдели, и народы эти канули в вечность. До нас они дошли не в своих институтах, но в своих идеях; благодаря их идеям, особенности – искусству управления, они для нас

Властители ушедшие, что правят
Умами нашими из тьмы гробниц²⁹.

Действительно, к их времени восходят почти все ошибки, по сей день подрывающие политические основы общества, – коммунизм, утилитаризм, подмена власти тиранией, свободы – беззаконием.

Представление о том, что первобытные люди жили в естественном состоянии, то есть в отсутствие законов и под властью насилия, принадлежит Критию. Коммунизм в своей наиболее грубой форме был рекомендован Диогеном Синопским. Согласно софистам, обязанности человека сводятся к целесообразности, подсказанной требованиями момента, а добродетель – к наслаждениям. Лучше нанести удар, чем пострадать по ошибке; нет большего добра, чем причинять зло, заведомо не опасаясь кары, и нет худшего зла, чем страдать, не имея утешения в мести. Правосудие и поиски справедливости суть маска трусости, несправедливость и несправедливость составляют основу житейской мудрости; долг, послушание, самоотречение суть мошенничества, присущие лицемерам. Правительство обладает абсолютной властью, может предписывать подданным все, что ему вздумается, и никто не смеет жаловаться на несправедливости, – однако если подданный может избежать принуждения и наказания, он волен не подчиняться правительству. Счастье состоит в обладании властью и в отсутствии необходимости кому-либо повиноваться; тот, кто взошел на трон путем вероломства и убийства, достоин истинной зависти.

Эпикур не далеко отстоит от проповедников кодекса революционного деспотизма. Все общества, говорит он, основаны на соглашении о взаимном ограждении интересов. Понятия добра и зла условны, ибо молнии небесные равно разят правых и неправых. Дурные поступки плохи не сами по себе, а своими последствиями для того, кто их совершает. Мудрецы соблюдают законы не в силу морального обязательства, но ради самозащиты, – когда же законы перестают быть выгодными, они утрачивают силу. – Ограниченность суждений почти всех прославленных метафизиков обнаруживается в известном высказывании Аристотеля, назвавшего отличительным признаком худших правительств то, что людям при них позволено жить, как им заблагорассудится.

Если не упускать из виду, что лучший из язычников, Сократ, не знал более высокого критерия для оценки людей и более надежного руководства для их поведения, чем законы

²⁹ Байрон. Манфред, акт III, сцена IV.

страны, в которой им довелось жить; что Платон, чье возвышенное учение столь близко предвосхитило христианство, что знаменитейшие теологи хотели наложить запрет на его труды – из опасения, что их притягательная сила лишит в глазах людей привлекательности более возвышенные и пророческие слова тех, кто воочию узрел Сына Человеческого, – что этот обладатель самого блистательного ума из когда-либо дарованных человеку направил свою интеллектуальную мощь на защиту утверждения, что семья должна быть отменена, а дети брошены на произвол судьбы; что Аристотель, величайший моралист античности, не видел греха в набегах на соседние народы и их порабощении; но мало того: если вы возьмете в рассуждение, что и в новейшие времена люди, гениальностью равные древним, придерживались политических учений не менее преступных или абсурдных, – то для вас станет очевидным, сколь неодолимая фаланга ошибок преграждает путь к истине; а также и то, что в деле создания свободной формы правления чистый разум столь же беспомощен, сколь и обычай; что общество свободных может возникнуть только в результате долгого, многообразного и мучительного опыта; и что проследить пути, которыми божественная мудрость наставляла народы, научила их принимать налагаемые свободой обязательства, – не последний элемент истинной философии, повелевающей

...благость Провиденья доказать,
Пути Творца пред тварью оправдав³⁰.

Но, обнаружив перед вами всю глубину заблуждений древних, я дал бы вам в высшей степени превратное представление об их мудрости, если бы допустил впечатление, что их заповеди не были лучше их практики. В то время, когда государственные деятели, сенаты и народные собрания поставляли примеры всевозможных грубейших ошибок в политике, заявила о себе благородная литература, впитавшая бесценные сокровища политических знаний и с беспощадной пронизательностью выставившая напоказ недостатки институтов власти той поры. Положениями, по которым древние более всего приблизились к единодушию, стали право народа на власть и его неспособность осуществлять эту власть в одиночку. Чтобы преодолеть эту трудность и дать народному элементу полноценное участие в управлении, не предоставляя в то же время монополии на власть, древние почти повсеместно пришли к теории смешанной конституции. Их представление о ней отличалось от нашего тем, что конституции нового времени сложились в процессе и как средство ограничения монархии, тогда как конституции древних имели целью обуздание демократии. Эта идея родилась во времена Платона (ее отвергавшего), когда исчезли ранние монархии и олигархии; не была она забыта и многие годы спустя, когда Римская империя поглотила все демократические общины древности. Но в то время как суверенный властитель отдает часть своей власти лишь под давлением превосходящей силы, суверенный народ отказывается от своих исключительных прав под влиянием доводов разума. Между тем во все времена наложение ограничений легче было осуществить посредством силы, чем путем убеждения.

Древние писатели ясно видели, что всякий принцип власти, взятый отдельно, тяготеет к избыточности и провоцирует ответную реакцию. Монархия ужесточается до деспотизма. Аристократические правительства превращаются в олигархические. Демократия простирается до безраздельного господства большинства. Поэтому они вообразили, что, ограничивая каждый из этих элементов путем комбинирования его с другими, можно повернуть вспять процесс саморазрушения и обеспечить постоянную молодость государства. Однако гармоническое слияние монархии, аристократии и демократии, представлявшееся многим из этих писателей идеалом, осуществленным, как они полагали, в Спарте, Карфагене и Риме, осталось химерой

³⁰ Мильтон. Потерянный рай, 1, 22.

философов и не было воплощено в античные времена. Наконец, умнейший из них, Тацит, признал, что как ни замечательна смешанная конституция в теории, но построить на ее основе государство крайне затруднительно, а сохранить его – невозможно. Это невеселое признание историка не было опровергнуто и в последующие времена.

Опыт по смешению трех компонентов, которые не были известны древним, – христианства, парламентской формы правления и свободной прессы, – ставился чаще, чем можно себе вообразить. И все же не существует примера тому, чтобы таким образом сбалансированная конституция просуществовала, скажем, столетие. Если такой опыт вообще где-либо удавался, то это в нашей благословенной стране и в наше время³¹; и мы все еще не можем сказать, как долго коллективный разум нации пожелает удержать это равновесие. Трудности федерализма были знакомы древним не хуже конституционных. Ибо по своему типу все их республики были городами и управлялись народными собраниями жителей, которые сходились для этого на городской площади. Единая администрация для многих городов была им известна только в форме иноплеменного гнета, который Спарта осуществляла над мессенцами, Афины – над союзниками, Рим – над Италией. Путей, которые в новейшее время открыли перед большими народами возможность самоуправления из единого центра, в древности не существовало. Лишь федерализм мог быть защитой и гарантией равенства, а оно чаще встречается среди древних, чем в новые времена. Если распределение власти между несколькими частями государства служит наиболее эффективным средством сдерживания монархии, распределение власти между несколькими автономными внутри федерации государствами является лучшей гарантией демократии. Умножая число центров власти и обсуждения, оно ведет к распространению политических знаний и поддержанию здорового и независимого общественного мнения. Оно покровительствует меньшинствам и освящает самоуправление. Но хотя это распределение власти должно быть названо в числе лучших достижений практического гения античности, выросло оно из необходимости, и его свойства не были в достаточной степени исследованы теоретически.

Когда греки впервые стали размышлять над общественными проблемами, они поначалу приняли вещи как они есть и постарались как можно лучше объяснить и обосновать их. Исследование, у нас стимулируемое сомнением, у них началось любопытством. Знаменитейший из ранних философов, Пифагор, развивал теорию удержания политической власти в руках класса образованных людей, прославляя и облагораживая форму правления, обыкновенно основанного на невежестве и жестком следовании классовым интересам. Он проповедовал уважение к авторитетам и субординацию, обязанностям уделял больше внимания, чем правам, религии отводил место более значительное, чем политике; его система прекратила свое существование вместе с олигархической формой правления, сметенной революцией. После этого революция создала свою собственную философию власти, крайности которой я уже описал.

Однако между двумя эпохами – между суровой дидактикой ранних пифагорийцев и расплывчатыми, распадающимися теориями Протагора – стоит философ, далекий от обеих крайностей, чьи трудные изречения не были должным образом поняты или оценены до нашего времени. Свою книгу Гераклит Эфесский отдал на хранение в храм Дианы. Книга погибла вместе с храмом и культом богини, но в нашем столетии фрагменты ее текста с невероятной страстью собираются и интерпретируются учеными, богословами, философами и политиками из числа тех, кто более прочих причастен к свершениям и потрясениям века. Самый прославленный логик прошлого столетия [Гегель]³² признал правоту каждого из утверждений Гераклита; а самый блестящий агитатор среди социалистов континентальной Европы [Лассаль] сочинил в его честь труд объемом в 840 страниц.

³¹ То есть в Великобритании второй половины XIX века.

³² В квадратных скобках добавления, сделанные переводчиком.

Массы, жаловался Гераклит, глухи к правде и не знают, что один достойный человек ценится дороже тысяч; но при этом он не испытывал ни тени суеверного почтения к существующему порядку вещей. Борьба, утверждает он, есть начало всего, разногласие – всеобщий наставник. Жизнь есть вечное движение, покой есть смерть. Человек не может дважды войти в один и тот же поток, всегда текущий и потому преходящий и необратимо меняющийся. Единственная надежная, твердо установленная и определенная вещь в круговороте перемен есть универсальный и царственный разум, общий для всех людей, хотя и не всем доступный. Законы держатся не силой земной власти, но присущей им добродетелью, следующей из единого божественного закона. Эти высказывания, которые вызывают в нашей памяти грандиозный очерк политической правды книг Священного Писания и ведут нас вперед, к последним наставлениям наиболее просвещенных наших современников, следовало бы тщательно изучить и прокомментировать. К несчастью, Гераклит настолько темен, что его не понимал Сократ, – и я не стану утверждать, что мне удалось продвинуться дальше.

Если бы темой моего обращения была история политической мысли, самого почетного места и наиболее обширного изложения в нем заслуживали бы идеи Платона и Аристотеля. *Законы* первого и *Политика* второго, если мой опыт не обманывает меня, суть книги, из которых мы можем почерпнуть главное о политических принципах. Проницательность, с которой эти древние мыслители исследовали государственные институты Греции и выявили их пороки, осталась непревзойденной и в позднейшей литературе; Бёрк и Гамильтон, лучшие политические писатели прошлого века, Токвиль и Рошер, наиболее выдающиеся в наши дни, – не встали выше их. Но Платон и Аристотель были философами, они занимались не изучением бесконтрольной свободы, но вопросами наилучшего, разумнейшего государственного устройства. Они видели губительные последствия бездумной жажды свободы – и пришли к заключению, что лучше отказаться от этой жажды и жить в согласии с сильной властью, устроенной благоразумно и доставляющей людям счастье и благоденствие.

В наше время свобода и хорошее правительство не исключают друг друга; причем имеются превосходные доводы в пользу того, что они должны следовать рука об руку. Свобода не есть средство достижения более высокой политической цели. Она сама – высочайшая политическая цель. И необходима она не ради хорошей общественной администрации, но для обеспечения безопасности на пути к вершинам гражданского общества и частной жизни. Увеличение свободы в государстве может порою способствовать развитию посредственности и поставлять питательную среду предрассудку; может оно даже оттягивать принятие полезных законов, уменьшать военную мощь и ограничивать пределы империи. С полным основанием можно допустить, что если бы в Англии или Ирландии многое шло из рук вон плохо под властью разумного деспотизма, что-то при этом все же делалось бы лучше, чем теперь; что римская власть была более просвещенной при Августе и Антонинах, чем под властью сената или во дни Марии и Помпея. Человек великодушный предпочтет видеть свою страну бедной, слабой и незначительной, но свободной, чем мощной, процветающей, но поработанной. Лучше быть гражданином скромной альпийской республики³³, чье влияние едва ли перешагнет когда-либо за ее тесные границы, чем подданным грандиозной самодержавной монархии, под сенью которой пребывает половина Азии и половина Европы³⁴. С другой стороны, можно возразить, что свобода не суммирует в себе всего того, ради чего стоит жить, и не заменяет собою этой суммы; что круг наших возможностей ограничен действительностью и что границы этого круга меняются; что развитые цивилизации вручают государству все большее число прав и обязанностей, одновременно увеличивая тяготы и стеснения, налагаемые на подданного; что хорошо подготовленная и разумная община может высказаться за выгоды, вытекающие из навязанных

³³ Швейцарии.

³⁴ России.

ей обязательств, которые на ранней стадии представлялись бы непереносимыми; что процесс либерализации не является чем-то расплывчатым и неопределенным, но имеет целью положение, при котором на общество не налагалось бы иных ограничений, кроме самим этим обществом расцениваемых как ему благоприятствующие; что свободная страна может оказаться менее способной к утверждению религии, предотвращению общественных пороков или облегчению людских страданий, чем страна, которая не содрогнется перед необходимостью противопоставить чрезвычайным обстоятельствам концентрацию власти и известные жертвы правами личности; и что высшая политическая цель по временам должна отступать перед еще более высокой целью нравственной. Мои слова ни в чем не противоречат всем этим заслуживающим полного уважения суждениям. Мы занимаемся сейчас не следствиями свободы, а ее причинами. Мы отыскиваем идеи, позволяющие взять под контроль склонную к произволу власть – либо путем распределения земной власти, либо путем обращения к власти, стоящей над всеми земными правительствами, – и вот в смысле разработки этих идей величайшие греческие философы не предложили нам ничего, что следовало бы принять во внимание.

Именно стойки освободили человечество от подчинения деспотическим формам власти, именно их просвещенное и высокое мировоззрение перекинуло мост через пропасть, отделявшую античное государство от христианского, и проложило путь свободе. Видя, сколь мало оснований считать, что законы той или иной страны будут мудрыми и справедливыми; понимая, что единодушное волеизъявление народа и согласие наций не являются гарантией от ошибок, стойки раздвинули эти узкие границы, перешагнули существовавшие до них невысокие нормы и приблизили человечество к принципам, которые должны направлять жизнь людей и существование обществ. Они донесли до сознания людей мысль о том, что имеется воля, стоящая над волей человеческого коллектива, и закон более высокий, чем законы Солона и Ликурга. Для них критерием хорошего правительства стала мера соответствия власти принципам, восходящим к высшему законодателю. То, перед чем мы должны склониться, то, перед чем мы обязаны принизить все гражданские власти, чему должны принести в жертву всякий земной интерес, есть непреложный закон, совершенный и вечный, как сам Бог, исходящий из Его божественной сущности, повелевающий небу, земле и всем народам.

Важнейший вопрос состоит не в том, чтобы выяснить, что правительства предписывают, а в том, что они должны предписывать; ибо всякое предписание теряет силу, если противоречит человеческой совести. Перед Богом нет ни грека, ни варвара, ни богатого, ни бедного, и раб во всем равен своему господину, ибо по рождению все люди свободны; они – граждане всемирной республики, обнимающей всю землю, единое братство, единая семья детей божиих. Праведный наставник нашего поведения – не внешняя власть, но нисходящий к нам и живущий в наших душах глас Бога живого, знающего все наши помыслы, подателя всей правды, которую мы постигли, и всего добра, которое мы творим; ибо порок происходит от нашего произвола, а добродетель дается нам от духовной благодати небесной.

Философы, усвоившие возвышенную этику Портика, подхватили и всесторонне развили учение, исходящее от этого божественного голоса. От них мы услышали, что недостаточно строго следовать писаным законам или отдавать должное каждому человеку; мы должны отдавать людям больше, чем им причитается, быть великодушными и милосердными, посвятить себя добродетели и служению людям, действовать, руководствуясь сочувствием, а не личной выгодой, находя свою награду в самоотречении и жертве. С другими мы должны поступать так же, как хотим, чтобы другие поступали с нами; до самой смерти мы должны продолжать творить добро нашим врагам, не помня о низости и неблагодарности. Ибо наш долг – сражаться со злом, но быть в мире с людьми, и лучше нам принять страдание, нежели совершить несправедливость. Подлинная свобода, учат наиболее последовательные из стоиков, заключается в покорности Богу. Государство, управляемое подобными принципами, было бы много свободнее государств, созданных греками и римлянами, ибо эти принципы идут навстречу религиоз-

ной терпимости и отрицают рабство. По Зенону, ни война, ни деньги не могут сделать одного человека собственностью другого.

Выдающиеся правоведы империи усвоили эти идеи и стали руководствоваться ими. Писанные законы, заявили они, стоят ниже закона естественного, – и рабство противоречит ему. Люди не вправе по своей прихоти распоряжаться тем, что им принадлежит, или наживаться на потерях других. В этом – политическая мудрость древних, затрагивающая самые основания свободы. Такою она предстает нам в своих высших достижениях – в трудах Цицерона, Сенеки и александрийского еврея Филона, авторов, которые донесли до нас итоги великого труда человеческой мысли, подготовившего почву для евангельской проповеди и завершенного незадолго до начала миссии апостолов. Блаженный Августин, процитировав Сенеку, спрашивает: «Что еще христианин может добавить к словам этого язычника?» Когда исполнились времена, просвещенные язычники вплотную подошли к последнему пределу, еще достижимому без нового откровения. Мы видели широту и блеск эллинистической мысли, которая подвела нас к порогу более совершенного мира. Величайшие из поздних классиков по существу говорят языком христианства, прикасаются к его духовности.

И, однако ж, во всем, что я смог процитировать из классической литературы, не хватает трех вещей: представительного правительства, полного освобождения рабов и свободы совести. Правда, существовали выборные совещательные органы; верно и то, что объединения союзных городов, во множестве имевшихся в Азии и Африке, посылали своих представителей в федеральные советы. Но власть избранного парламента была в принципе неизвестна. Некоторая терпимость заложена в природе политеизма. Сократ, провозглашающий, что долг повелевает ему следовать воле Бога, а не афинян, и стоики, для которых мудрость была выше закона, почти готовы были сформулировать этот принцип. Однако впервые он был открыто заявлен и положен в основу законодательства не в политеистической философствующей Греции, но в Индии, за 250 лет до Рождества Христова, – первым из буддийских царей Ашокой.

Рабство, еще в большей мере, чем нетерпимость, оставалось неизменным позором античной цивилизации, и хотя его правомерность была поставлена под сомнение уже во времена Аристотеля, а затем если не с полной определенностью, то неявно отрицалась стоиками, в целом нравственная философия греков и римлян, так же точно, как и их практика, решительно высказывалась в пользу рабовладения. Но существовал один необычайный народ, который и здесь, так же точно, как и в других вещах, предвосхитил ту совершенную заповедь, которой предстояло появиться. Филон Александрийский был из числа мыслителей, державшихся самых передовых взглядов на общественные проблемы. Он выступал не только за свободу, но и за равенство достояния. Он верил, что ограниченная демократия, очищенная от наиболее грубых ее элементов, является лучшей формой правления и со временем распространится по всему миру. Под свободой он понимал следование воле Всевышнего. Филон не осуждал рабства вполне и окончательно, а лишь требовал, чтобы положение раба соотнобразовывалось с его высшими духовными запросами. Но он записал и тем сделал известными обычаи ессеев, секты, жившей в Палестине и соединявшей античную мудрость с еврейской верой. Селившиеся в пустыне, ессеи первыми отвергли рабство как в принципе, так и на практике. Своей государственности у ессеев не было; они представляли собою религиозную общину, численностью не превосходившую четырех тысяч человек. Но их пример показывает, сколь совершенная концепция общества может утвердиться среди людей глубоко религиозных даже и без вспомоществования Нового Завета, при жесточайшем осуждении современников.

Наш обзор, таким образом, приводит нас к следующему: едва ли в политике или системе прав человека имеется правда, не понятая во всей полноте мудрейшими из мыслителей античного мира и евреями, или правда, не возвещенная ими миру с той утонченностью ума и благородством языка, которых не удалось превзойти и авторам позднейших веков. Я мог бы часами читать вам извлечения из античных авторов о естественном праве и обязанностях человека, –

извлечения столь возвышенные и проникнутые религиозным чувством, что хотя они дошли до нас из языческого театра у стен Акрополя и с римского Форума, вам могло бы показаться, что вы слышите церковные песнопения, псалмы или пастырские напутствия святых угодников церкви. Но при всем том, что слова великих учителей классической древности, таких как Софокл, Платон или Сенека, равно как и прославленные примеры человеческой добродетели, были в то время на устах у всех, они не обладали силой, способной отвлечь роковую судьбу этой цивилизации, в напрасную жертву которой были принесены жизни столь многих благородных патриотов и труды возвышенного гения стольких непревзойденных писателей. Свободы древних не устояли под натиском безнадежного и неизбежного деспотизма; их жизненные силы были растрчены к тому моменту, когда из Галилеи явилась новая сила, несущая людям то давно вожделенное и насущное человеческое знание, которое и для человека, и для общины открывает путь к спасению и искуплению.

С моей стороны было бы самонадеянностью пытаться указать все те бесчисленные пути, которыми влияние христианства постепенно пронизывало государство. Первым поражающим обстоятельством является та медлительность, с которой заявило о себе в мире движение, изначально столь грандиозное. Опыт народов на различных этапах цивилизации и практически при всевозможных правительствах показывает, что ни в одном из своих проявлений христианство не брало на себя задач политического апостольства и, в своей всепоглощающей занятости преобразованием личности, не бросало вызова общественной власти. Ранние христиане избегали контактов с государством, не принимали государственных должностей, даже не желали служить в армии. Лелея свое гражданство в царстве не от мира сего, они перестали связывать какие-либо надежды с империей, казавшейся слишком сильной, чтобы с нею бороться, и слишком погрязшей в пороках, чтобы ее обращать, – с империей, чьи институты, итог и гордость многих столетий язычества, возводили свои полномочия к воле богов, которых христиане почитали бесами; с империей, из века в век обагрившей свои руки кровью святых мучеников, не имевшей надежды ни переродиться, ни избежать своего губительного предопределения. В своем благоговейном страхе ранние христиане воображали, что падение империи будет одновременно падением церкви и концом света; никто тогда не мог и помыслить о том безграничном влиянии, духовном и общественном, которым их вера обнаружит себя среди племен разрушителей, в те дни повергавших в унижение и обращавших в руины империю Августа и Константина. Обязанности государства в их глазах значили меньше личной добродетели и обязанностей подданных; многие и многие годы потребовались для того, чтобы власть, сосредоточенную в их вере, они осознали как тяжкое бремя. Вплоть до эпохи Иоанна Златоуста они удаляли от себя всякое размышление, подводящее к необходимости освободить рабов.

Хотя доктрина личной ответственности и самоотвержения, лежащая в основании политической экономии, записана в Новом Завете столь же отчетливо, как в *Богатстве народов*, до нашего времени этого никто не замечал. Тертулиан гордится пассивной покорностью христиан. Мелитон Сардийский пишет к языческому императору так, как если бы тот был вообще неспособен к несправедливости; и даже уже в христианские времена Опат полагал, что если кто-либо осмеливается найти недостаток в его суверене, то он заносится до того, чтобы считать себя почти равным Богу. Но этот политический квиетизм не был универсален. Ориген, способнейший из ранних писателей, оправдывал заговор как средство низвержения деспотии.

Начиная с V столетия речи против рабства звучат все более страстно, все более настойчиво. В теологическом же смысле, пусть еще в зачаточном состоянии, уже богословы второго столетия требовали свободы, а богословы IV столетия – равенства. В политике происходило существенное и неизбежное преобразование. Были известны народные правительства, правительства смешанные и федеральные, но не было правительств ограниченных, не было государства, круг власти которого определялся бы внешней по отношению к нему силой. Такова была великая проблема, поднятая философией, но оказавшаяся не под силу ни одной государствен-

ной системе. Те, кто свидетельствовал о высшей власти и уповал на ее помощь, в действительности воздвигали метафизический барьер перед правительством, – но они не знали, как сделать этот барьер реальностью. У Сократа был лишь один способ противостоять тирании реформированной демократии: умереть за свои убеждения. Стоики могли только советовать мудрецу держаться в стороне от политики, храня неписанный закон в своем сердце. Но вот явился Христос и сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Эти слова, произнесенные Им во время Его последнего посещения храма, за три дня до Голгофы, поставили гражданскую власть под защиту совести, вручили ей святость, которой она никогда не обладала, и положили границу, которой она никогда не признавала. Эти слова были отвержением абсолютизма и освящением свободы. Ибо Господь наш дал нам не только заповедь, но и силу исполнить ее. Ограждать неприкосновенность верховной сферы, сводить всякую политическую власть к известным границам – все это перестало быть уделом мечтаний терпеливых увещателей, но в качестве постоянной ответственности и заботы было возложено на самый действенный из институтов на земле, на самую универсальную из человеческих общностей. Новый закон, новая духовность, новая власть – сообщили свободе смысл и ценность, которыми она никогда не обладала в философии или конституциях Греции или Рима, до уяснения человечеством той истины, которая делает нас свободными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.